

Тщета великодержавного соперничества

Если кто-то еще сомневался, что происходящее в мире — не просто рост напряженности, а системный сдвиг, лето 2016 года должно было переубедить скептиков. Дело не столько в концентрации событий, хотя она впечатляет сама по себе, сколько в их содержании: происходит то, чего не должно было случиться и что вроде бы все хотели предотвратить.

Принятое на референдуме решение о выходе Великобритании из Евросоюза. Избрание Дональда Трампа официальным кандидатом в президенты США. Потрясающая Европа волна террористического насилия, в котором неразрывно сплелись факторы внешние (ближневосточная мясорубка) и внутренние (провал мультикультурной модели в ведущих странах). Попытка военного переворота в Турции с последовавшей кампанией чисток, поляризацией общественно-политической среды и очередным разворотом внешней политики Анкары, вплоть до угроз пересмотреть отношения с НАТО. Российско-турецкое примирение, столь же резкое и неожиданное, как и сам острый прошлогодний конфликт. Возвращение Сирии к полномасштабным боевым действиям и эскалация великодержавного соперничества внешних сил, которое никому не может принести выгоду — игра с ненулевой суммой, но такая, где проигрывают все. Сползание украинского кризиса обратно в военную фазу — по мере того как был исчерпан потенциал Минского процесса и у всех сторонних участников накопилась усталость от украинской тематики. Фактическое возвращение НАТО к миссии холодной вой-

ны — сдерживанию России. Скандалы вокруг Олимпиады с нескрываемым политическим привкусом...

Это только основные вехи, наиболее яркие симптомы происходящего. Всякие “мелочи”, наподобие сокрушительного для Китая вердикта Гаагского арбитража по спорным с Филиппинами островам или отмены второго тура президентских выборов в Австрии с перспективой, что при назначенном повторном голосовании победит ультраправый кандидат, можно даже не учитывать.

Практически ко всему перечисленному “пристегнута” Россия, что кому-то может и льстить: страна вернулась в центр мировой политики. Одно только небывалое со времени распада СССР присутствие в избирательной кампании в Соединенных Штатах чего стоит — даже там обнаружился “кандидат Кремля”. Однако тот факт, что Россия у всех на устах, не столько отражает ее мощь и возможности воздействия (хотя по ряду параметров возможности, конечно, расширились), сколько демонстрирует смятение и неуверенность, охватившие ведущие государства. Как верно заметил Иван Крастев, “обличения, извергаемые в направлении Москвы, препятствуют продуктивной дискуссии о тяжелых проблемах, с которыми мы сталкиваемся в наших обществах, и толкают к упрощенной картине, стремлению свести риски и неопределенности все более взаимозависимого мира к великодержавному соперничеству”¹.

В этой подмене, скорее подсознательной, чем осознанной, пожалуй, и кроется

главная загвоздка, наличие которой объединяет сегодня страны с самым разным административным устройством и политической культурой. Глобализация ведет к стиранию границ — в прямом (между странами) и переносном (между внешним и внутренним, реальным и виртуальным) смысле; а это ставит главный вопрос — о природе власти.

Глобальное управление переживает упадок: после окончания холодной войны так и не возникла новая институциональная структура. Но и управление на национальном уровне утрачивает эффективность, будучи не в силах контролировать внешние обстоятельства. Все более космополитическая, глобализированная элита пытается править собственными странами и народами через повышение своего влияния на мировом, наднациональном уровне — при том, что именно собственные граждане остаются единственным источником ее легитимности. Однако, во-первых, добиться влиятельного положения в мире политическим классам большинства стран очень трудно. Во-вторых, сложившаяся ситуация не устраивает все более обширную часть населения, которая не уверена в своем будущем и чувствует себя оттесненной от возможности на него повлиять. Не случайно лозунг сторонников Brexit, оказавшийся для них победным, гласил “Вернуть контроль!”².

Исход референдума в Великобритании, фантазмагорическая кампания-2016 в США и неудачная попытка военного переворота в Турции, как ни странно, с разных сторон подчеркивают один и тот же феномен: изменение отношений между истеблишментом и населением, трансформацию природы власти, точнее — новую постановку вопроса об источниках права на нее в мире, в котором происходит смена парадигмы развития.

Винтовка с холостыми патронами

“Винтовка рождает власть”. Крылатая фраза Мао Цзэдуна считается классическим выражением главного принципа политической борьбы — побеждает грубая, или, как принято говорить сейчас, “жесткая” (в противовес модной “мягкой”) сила. Впрочем, если вос-

становить контекст, в котором она была произнесена, смысл становится более нюансированным. “Наш принцип — партия командует винтовкой; совершенно недопустимо, чтобы винтовка командовала партией”, — продолжал Мао, выступая на VI пленуме ЦК КПК 6-го созыва с докладом “Война и вопросы стратегии” в ноябре 1938 года³. Иными словами, без организации, опирающейся на массы и к ним апеллирующей, сама по себе сила не способна добиться правильных целей.

Неудачный переворот июля 2016-го симптоматичен не только для самой Турции, но и как отражение происходящего в мире вообще. Вмешательство военных в политику для изменения курса или как минимум персонального состава власти — одна из самых устойчивых традиций Турецкой Республики. В XX веке Турция пережила четыре военных переворота разной степени жестокости, не говоря уже о том, что и родилось современное турецкое государство из стремления амбициозных офицеров во главе с Мустафой Кемалем положить конец агонии Османской империи. Все работало так, как задумывалось, до второй половины 1990-х годов. В 1997-м для отставки происламского премьера Неджметтина Эрбакана оказалось достаточно “настоятельной рекомендации” генералитета. Это произошло за пять лет до прихода к власти Партии справедливости и развития во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, как понятно сейчас, кардинально изменил суть турецкой политики. Правление Эрдогана породило парадоксальную смесь: по сравнению с предыдущей традицией Турция стала куда более демократичной, но одновременно гораздо менее либеральной и прозападной.

Дело, конечно, не в Эрдогане лично. Просто так получилось, что именно он стал “агентом перемен”, принес в Турцию дух новой эпохи. Военные перевороты и правления военачальников, которые были нормой в прошлом веке, к его концу превратились в анахронизм. До этого где только не управляли генералы: чуть ли не повсеместно в Азии, на Ближнем Востоке и Латинской Америке, во многих частях Африки, да даже и в Европе, правда, Южной — от диктатур на Пиренейском полуострове и в Греции до “сильной руки” Шарля де Голля во

Франции. Однако волна изменений, которые зародились в 1970-е годы, резко активизировались во второй половине 1980-х годов и, по сути, продолжались до “арабской весны”, подвела черту под “властью винтовки” в турецком понимании. А заодно и под прогрессистским пафосом, который раньше ассоциировался с военными правителями в Турции (а также в Южной Корее, Индонезии, Чили, некоторых арабских странах). Сегодня идея о “патриотических офицерах-модернизаторах” звучит безбожным анахронизмом. Но и либеральная демократия стала утрачивать привлекательность — Фарид Закария еще с середины 2000-х годов предупреждал о том, что демократические выборы все чаще играют на руку ярким и харизматичным лидерам авторитарного типа, склонным действовать в обход институтов.

“Третья волна демократизации”, о которой писал Сэмюэл Хантингтон, началась в первой половине 1970-х с падения автократий в Португалии и Испании и нарастала до середины 1990-х, все шире распространяясь по миру. Потом, как и предполагала хантингтоновская концепция, начался спад, но в отличие от предшествующих откатов (20-е — 40-е и 60-е — 70-е годы XX века), события разворачивались в открытом пространстве либерального мироустройства, восторжествовавшего после холодной войны. Так что демократизация касалась не только внутреннего устройства конкретных стран, но и международного сообщества в целом. Между тем игроков становилось все больше, их самосознание росло, отчего способность и право великих держав управлять глобальными процессами оказывались под сомнением. Беспрецедентная информационная прозрачность способствовала повсеместной эмансипации широких масс населения, которые уже не хотели мириться с авторитарными режимами классического типа. В отличие от предшествующих периодов, когда “классический авторитаризм” сменялся военной хунтой, в 1990-е годы происходил не откат в направлении военных или схожих с ними диктатур, а рост поддержки ярких популистов. Характерный пример — история Уго Чавеса, который в 1992 году попытался возглавить Венесуэлу привычным

путем военного путча, однако потерпел сокрушительное поражение и оказался в тюрьме. Шесть лет спустя Чавес был триумфально избран президентом на демократических выборах и управлял страной почти 14 лет до самой смерти от рака.

Среди причин тяги к типу “каудильо”⁴ — усложнение всех процессов в условиях глобального мира, в котором открытость начала заметно влиять на жизнь обывателя, правда, по-разному в развивающемся и развитом мире. В развивающихся странах общества надеются использовать новые возможности и тянутся к тем, кто обещает сделать это легко и быстро. В развитых, напротив, смотрят в будущее без оптимизма и не доверяют “скучным” политикам, забывшим об интересах людей⁵.

Партийная жизнь голых королей

В бестселлере 2000-х годов “Будущее свободы” Фарид Закария предупреждал о наступлении эпохи “нелиберальной демократии”, когда атрибуты народовластия могут оказаться на службе совсем не тех идей, которые казались доминирующими в восьмидесятые годы. Он писал о профанации партийной борьбы и “высыхании” идеологий. На смену старым партийным бонзам идут профессиональные активисты, которые, в отличие от своих предшественников, не считаются с мнением рядовых членов партии: “Теперь партия не более чем инструмент для сбора средств в пользу телегеничного кандидата”. “И это только начало, — предупреждает автор. — По мере того как политические партии будут деградировать дальше, богатство и известность станут привычными средствами для избрания на высшие посты”. Впрочем, десять лет спустя ситуация оказалась даже более драматичной: в так называемых старых, устоявшихся демократиях недовольные собственной маргинализацией партийцы стали прорываться к принятию решений и даже влиять на них — истеблишменту оставалось лишь изумленно взирать на происходящее. Наиболее яркий пример — избрание в 2015 году лидером Лейбористской партии Великобритании крайне

левого парламентария-“заднескамеечника” Джереми Корбина, которого отвергает практически вся фракция лейбористов в парламенте, зато твердо поддерживают профсоюзы и рядовые члены. Феномен того же порядка — Дональд Трамп, ненавидимый подавляющим большинством республиканских боссов, но набравший на праймериз наибольшее число голосов в истории. Трамп к тому же являет собой, в полном соответствии с предсказаниями Закария, продукт медиаиндустрии — у миллиардера врожденное чувство шоу-бизнеса.

Неверие в дееспособность институтов охватило не только молодые и незрелые демократические общества, но и само ядро либеральной системы — Европу и Соединенные Штаты. То, что сейчас называют подъемом популизма, отражает острое неприятие истеблишмента практически повсеместно. Как замечает Фрэнсис Фукуяма,

««популизм» — ярлык, который элиты навешивают на политику, поддерживаемую простыми гражданами, но неприятную истеблишменту. Конечно, нет оснований ожидать, чтобы демократические избиратели всегда делали мудрый выбор — особенно в нынешний век, когда глобализация до такой степени запутывает набор вариантов в сфере политики. Но и элиты не принимают верных решений, а их пренебрежение гласом народа нередко маскирует тот факт, что «король-то голый»»⁶.

Схожую мысль высказывает Артемий Магун, комментируя итоги голосования о Brexit:

««Популизм» по-русски означает «народничество». Мы говорим, что демократия, это хорошо, а популизм, это плохо, хотя это одно и то же. Когда нам нравится демократия, мы говорим «демократия», когда не нравится, мы говорим «популизм» <...> Когда мы вдруг вспоминаем о народе, но только чтобы провести референдум, вместо того, чтобы с этим народом работать, если мы ведем политику элитарную технократическую и лишь время от времени вспоминаем о выборах, тогда мы получаем в качестве демократического волеизъявления то, что вы называете популизмом: иррациональное протестное голосование»⁷.

Несовместимость технократической политики и демократии — явление не неизбежное. В этом смысле модельным примером служила европейская интеграция, какой она была до 1990-х годов. С самого начала объединение Европы было процессом не демократическим, а элитарным, и по вполне понятным причинам. Если бы в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого века, когда все начиналась, гражданам Франции и Западной Германии предложили методом демократического волеизъявления ответить на вопрос, хотят ли они структурного и институционального сближения своих стран, ответ был предопределен — еще, что называется, не остыли тела миллионов жертв самой страшной в истории человечества войны, в которой немцы и французы самозабвенно убивали друг друга. Соответственно, добиться движения вперед (а великий основоположник Европейского сообщества Жан Монне был совершенно убежден, что только такое сближение разорвет замкнутый круг междоусобиц в Европе) было возможно, только совмещая элитарные, вполне технократические договоренности с неустанным и убедительным объяснением обществам, какие конкретно выгоды они получат⁸. Эта схема, несмотря на все препоны и спады, неизбежные при реализации столь сложного проекта, в целом работала до 90-х годов XX столетия, когда кардинально изменилась международная обстановка и сама атмосфера мировой политики. Дальше проект усложнялся, становился технически и юридически непонятен (а главное — зачастую даже необъясним) обычному европейцу.

Несмотря на укрепление наднациональной составляющей и претензии на федерализацию Европы, политическое пространство оставалось разделенным по национальному принципу. Демократическую легитимность через выборы могли получить только национальные политики; попытки сконструировать общеевропейскую легитимность — например, путем прямых выборов в Европарламент — в основном оставались скорее имитацией. Ирония заключается в том, что на выборах в Европейский парламент партии евроскептиков показывают обычно максимальный для себя результат, заметно более высокий, чем

на национальных голосованиях. Так, в 2014 году “Национальный фронт” Марин Ле Пен просто-таки выиграл “европейские” выборы у себя в стране, набрав почти 25% голосов и заняв треть мест евродепутатов от Франции. Объясняется это тем, что избиратели на этих выборах “голосуют сердцем”, то есть откровенно выражают свое отношение к собственным властям, не боясь отдать голос за явных фрондеров, поскольку понимают, что от результата их конкретные “кошелек и жизнь” никак не зависят.

Национальные же правительства в итоге попали в ловушку между подотчетностью собственным избирателям и логикой взаимоотношений на уровне европейских институтов. Ответом на сложившийся дуализм стало появление антисистемных сил, то есть тех, кто не считает себя обязанным неукоснительно следовать указаниям “никем не избранной безликой бюрократии”.

Возвращаясь к метафоре Мао, можно констатировать кризис обоих инструментов власти — и винтовки, и партии. После окончания конфронтации XX века, когда был повержен коммунистический лагерь, партийные системы ведущих стран, по существу, оказались выхолощены: идеологические различия между правыми и левыми сменило торжество центризма, всеобщее стремление как можно плотнее охватить средний класс, опору западных обществ. В годы идеологической конфронтации само наличие, пусть теоретическое, советской альтернативы, равно как и идейное влияние СССР, временами даже весьма заметное, стимулировало идейную разногласицу внутри западных обществ — не по отношению к Советскому Союзу и коммунизму советского образца, а прежде всего по вопросам социальной политики и других аспектов общественного устройства. С крахом коммунистической альтернативы и торжеством либерального консенсуса собственно коммунистические движения на Западе почти исчезли, а остальные окончательно отказались от прежних “классовых” подходов. Как бы ни назывались партии — консерваторы, социалисты или либералы — они проводили примерно одинаковую усредненную линию. Тем более, что глобальные условия все боль-

ше сужали коридор возможных политических курсов. И в момент, когда в результате мирового финансового кризиса 2008 года произошел концептуальный слом всей модели, оказалось, что политические партии просто разучились работать с недовольными и маргиналами, число которых прибывало.

Аристократы без ответственности

Повсеместное падение авторитета элит усугубляет проблему, связанную со снижением качества демократии. Иван Крастев отмечает важнейший фактор отчуждения:

“В нашем взаимозависимом мире элиты гораздо меньше зависят от сограждан. Традиционно аристократы имели круг обязанностей, которые они были приучены выполнять с детства. Тот факт, что целые поколения предшественников, смотревших на них с портретов, развешанных по стенам замков, несли бремя происхождения, заставлял каждую новую генерацию относиться к своим привилегиям со всей серьезностью. Например, в Великобритании процент юношей из высшего класса, погибших в Первой мировой войне, был выше соответствующего процента из низших классов. Но новая элита не знает, что такое жертва. Ее сыновья не гибли на полях сражений. Сама природа новой элиты делает этих людей практически независимыми от государственной системы. У них нет связи ни с всеобщей системой образования (их дети обучаются в частных учебных заведениях), ни с институтами государственного здравоохранения (они могут позволить себе лучшие частные клиники). Они утратили способность почувствовать те проблемы, которые волнуют рядовых сограждан; эта «независимость» элит лишает общество рычагов воздействия на власть”⁹.

Пример Первой мировой войны весьма показателен¹⁰, особенно на фоне совсем недавней истории. Летом этого года в Великобритании был опубликован доклад комиссии Чилкота, которая после многолетней работы пришла к выводу, что решение правительства

Тони Блэра об участии в интервенции в Ирак было необоснованно, из рук вон плохо подготовлено и не соответствовало интересам страны¹¹. Яркий и крайне эмоциональный ответ Блэра на пресс-конференции после обнародования результатов на деле только подтвердил все заключения — экс-глава кабинета так и не смог объяснить, за что погибли две сотни британских военных и зачем были потрачены огромные деньги, но при этом отказался признать тогдашнее решение ошибкой.

Вердикт комиссии был обнародован спустя неполных две недели после сенсационного результата референдума о выходе из ЕС и стал еще одним свидетельством перевернутой системы приоритетов истеблишмента. Как следует из доклада, одним из основных мотивов участия Британии в войне было желание Блэра продемонстрировать союзническую лояльность Соединенным Штатам и лично президенту Джорджу Бушу-младшему. Иными словами, обязательства перед глобальной элитой в очередной раз перевесили ответственность перед собственным обществом.

Вопрос об ответственности, надежности и разумности правящего класса приобретает особую актуальность на фоне всплеска террористического насилия в ключевых европейских государствах: Франции, Германии, Бельгии (важность последней связана с ролью Брюсселя как штаб-квартиры главных западных организаций). За полтора года, с момента расстрела в Париже редакции сатирического еженедельника “Шарли Эбдо” до варварского теракта в Ницце, реакция публики заметно изменилась. Если вначале громче всего звучали слова о недопустимости посеять ксенофобию и рознь в обществе, то теперь явственно слышится возмущение неспособностью властей и спецслужб предотвратить регулярно повторяющиеся трагедии. Сегодняшняя беспомощность перед лицом террористической угрозы — такое же свидетельство несостоятельности властей, каким двести лет назад была неготовность отстоять свободу и независимость страны от внешнего захватчика. Только теперь речь о глобальной элите, отрывающейся от корней, а потому еще стремительней теряющей легитимность. Но и бунт, как видно по результатам выборов

и опросов по всему миру, носит глобальный характер.

Если лозунгом 2000-х было название той самой книги Фарида Закарии “Будущее свободы” (в середине прошлого десятилетия на фоне подъема недемократических держав возникли дискуссии о неэффективности демократий по части темпов развития — мол, авторитарные Китай и Россия не тратят кучу времени на демократические процедуры, быстро принимают решения и обгоняют медленных европейцев¹²), то сегодня впору писать вторую часть — “Будущее безопасности”. И снова с той же дилеммой: способна ли демократия обеспечить защиту, или авторитарные режимы справятся с этим лучше?

Внутренние мотивы конфронтации России и Запада

Неспособность правительств найти методы решения внутренних проблем толкает к поиску внешних причин, тем более что степень воздействия международной среды на процессы внутри стран действительно резко возросла. Это привычно для российского мироощущения, однако сейчас тот же феномен наблюдается практически повсеместно. Траектория взаимоотношений России и Запада за минувшие четверть века показывает странные закономерности, связанные отнюдь не только с застарелым военно-политическим соперничеством. Нынешнее взаимное отторжение имеет и внутренние корни — с обеих сторон.

Варшавский саммит НАТО в июле этого года заранее называли вехой. Символично само место проведения. Двадцать пять лет назад соперник НАТО, названный в честь польской столицы (по месту подписания договора), официально прекратил свое существование. Западный альянс одержал чистую победу — оппонент ликвидировал сам себя. После этого начались долгие искания Североатлантического блока, который пытался обрести новую миссию и роль в мире. Промежуточный итог, объявленный в Варшаве, — новая миссия найдена, ею стало возвращение к старой. Военный союз, созданный для про-

тивостояния советской угрозе, нашел обновленный *raison d'être* в противостоянии угрозе России, правопреемнице СССР.

Москва, со своей стороны, не возражает. Те же 25 лет страна пыталась (с угасающим рвением) занять место на западной орбите, найти собственную нишу в системе, которую США строили в мировом, а Евросоюз и НАТО — в европейском масштабе. Причин неудачи этого проекта много; чаще всего принято ссылаться на внешние. Нежелание Запада относиться к России как к равной. Экспансия западных институтов с целью быстрого “освоения” советского наследия и пространства, в процессе которой возражения Москвы воспринимали как досадный пережиток прошлого. Наконец, общее изменение природы НАТО, которая во время холодной войны была чисто оборонительной организацией коллективной безопасности, а после ее окончания фактически превратилась в наступательный блок, который регулярно инициирует войны. Однако есть и важные внутренние причины.

Философия открытости и максимальной кооперации с глобальным миром, провозглашенная последним советским лидером Михаилом Горбачёвым, не привела к появлению устойчивой и успешной модели развития. Крах СССР, резкое падение международного статуса, затяжной и глубокий социально-экономический и политический кризис России, возникновение олигархической системы, которую большинство населения воспринимает как несправедливую, сформировали крайне скептическое, а постепенно все более негативное отношение к идее вестернизации. При этом политическое руководство вплоть до начала острой фазы украинского кризиса в 2014 году в целом не отходило от логики интеграции с Западом (хотя условия, на которые соглашались российские лидеры, конечно, со временем менялись).

Справедливости ради надо отметить, что после окончания холодной войны был период, когда Российское государство достаточно активно использовало преимущества открытых отношений с Западом: первая половина 2000-х годов. Тогда Владимиру Путину удалось стабилизировать ситуацию после бурных 1990-х, восстановить централизованный

политический контроль и тем самым повысить интерес к России у части западного бизнеса. Сочетание эффекта от резкой девальвации 1998 года и начавшегося нефтяного бума создало привлекательные условия, Россия вошла в моду как *emerging market*. То время было отмечено и наиболее амбициозной повесткой дня в отношениях с Западом — сотрудничество против терроризма с США, обсуждение “общих пространств” с ЕС и даже намеки на возможную заинтересованность России в том, чтобы стать членом НАТО. Восстановление российской экономики и высокие темпы роста в тот период отчасти связаны с этой благоприятной обстановкой.

Оглядываясь назад, можно сказать, что в период примерно с 2001 по 2006 годы достиг своего апогея подход, в основе которого было стремление стать частью “расширенного Запада”. Хотя постепенно Кремль выдвигал все больше условий для того, чтобы такое сближение состоялось, свернуть поезд с этого пути не смогли даже такие потрясения, как выход США из договора по противоракетной обороне, последовательное расширение НАТО, американское вторжение в Ирак и “цветные революции” в Грузии и на Украине, воспринятые в Москве очень остро. Кульминацией стал саммит “большой восьмерки” в Санкт-Петербурге в 2006 году — формальное признание России полноправным членом элитарного клуба (хотя в финансово-экономической сфере этого не случилось на протяжении всего периода членства России в “Группе восьми”, вплоть до 2014 года).

Однако к этому моменту уже стало ясно, что присоединение России “к Западу” не решает задач, которые ставило российское руководство. Россия — отчасти из-за своего объективного экономического состояния, отчасти по политическим причинам — рассматривалась в мире как источник сырья, рынок, в лучшем случае второстепенный участник производственных цепочек. Ну а наличие ядерного арсенала и внешняя политика, все дальше отклонявшаяся от того, что Запад считал допустимым, превращала Россию в конкурента, который постоянно находился под подозрением.

В глобальную среду фактически встраи-

валась не Россия как нация и государство, а верхушечный сегмент российского общества — часть крупного бизнеса, часть управленческого класса, молодые космополитически настроенные профессионалы, способные найти себе достойное применение в развитых странах. Но реального политического оформления роли государства Россия как участника “элитарного клуба” не происходило (точнее — происходило только формально, на уровне участия в саммитах). Ведущие западные державы реализовывали свою повестку дня, не принимая всерьез недовольство Кремля (по поводу расширения НАТО, продвижения демократии на Ближнем Востоке, экспансии нормативного поля Евросоюза и прочее). Попытки полноценного приобщения к современным технологиям наталкивались на откровенное противодействие (например, отказ General Motors продать российским Сбербанку и ГАЗу автопроизводителя Opel). Идея российского руководства осуществить масштабный обмен сырья на технологии и тем самым добиться углубления экономической взаимосвязи не реализовалась по причине взаимного недоверия, которое так и не удалось преодолеть.

Интеграция России в глобальную экономику происходила, но весьма специфическим образом. Страна в полной мере ощутила на себе негативную сторону глобализации — оказалась в серьезной зависимости от внешней конъюнктуры, на которую в принципе не могла влиять. Но, оказавшись в глобальной среде, по большому счету так и не научилась извлекать из этого выгоду (как это долгое время делает Китай, который, правда, сейчас начал сталкиваться с ограничениями, оттого что США постепенно меняют подход к глобальной торговле). При этом внутри общества происходило расслоение на “продвинутое” меньшинство, ориентированное на глобальную среду, и консервативное, “национальное” большинство. Это очень явственно проявилось на рубеже 2011 и 2012 годов, когда столичный “креативный класс”, который на какое-то время увидел в Дмитрии Медведеве олицетворение “интегрированной” России, активно выступил против возвращения Владимира Путина на пост президента.

Выбор в пользу антиглобалистского большинства

Зимой 2011–2012 годов Путин столкнулся с феноменом (естественно, в российском самобытном варианте), подобным тому, с которым правящий класс Запада имеет дело сегодня. Речь об отрыве все более космополитической элиты от значительной (и скорее растущей) части населения, которая по-прежнему привязана к локальным корням и испытывает опасение перед лицом чрезмерно глобализованного внешнего мира. Только если в случае Великобритании (Brexit), США (Трамп, Сандерс) или стран континентальной Европы (популистские партии повсеместно) протестуют те, кто перестал понимать своих глобалистски мыслящих политиков, то в России четыре с половиной года назад получилось наоборот. О себе заявила интернационализирующаяся часть общества, недовольная отставанием политической системы от ее потребностей. Путин самим фактом “рокировки” и всем последующим поведением сделал выбор в пользу консервативного большинства, а после присоединения Крыма консолидировал и расширил его. Он противопоставил себя (а значит, и российскую государственную машину) ориентированному на внешний мир, точнее на Запад, активному меньшинству, которое, опять же после Крыма, практически утратило влияние среди собственных сограждан. Так произошла изначальная легитимация в России третьего президентства Владимира Путина в условиях нескрываемого неприятия его фигуры со стороны всего западного сообщества. Сочетание этих обстоятельств — концептуальный выбор Путина в пользу “антиглобалистского” большинства России и враждебность США и ЕС к его возвращению “на трон” — стало тем механизмом, который катализировал противостояние, достигшее пика после начала украинского кризиса.

Спустя четверть века после радикальных перемен в Европе и мире российское руководство, судя по всему, пришло к умозаключению, что путь открытости, принятый на вооружение во второй половине правления Михаила Горбачёва, не дал желаемых результатов. России не удалось ни занять подобаю-

щее место в мире, ни выработать устойчивую и перспективную модель социально-экономического развития. По сути, 25 лет транзита завели в тупик.

Дополнительным аргументом в пользу отказа от этой модели стало распространяющееся в России убеждение, что глобальная система вступила в эпоху трансформации и на смену философии универсальной открытости идет протекционизм нового уровня. Такие инициативы, как Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, продвигаемые администрацией Барака Обамы, вводят в рамках соответствующих объединений очень жесткие стандарты, которые прочно “спаивают” участников и фактически отсекают тех, кто остается вовне. По иронии судьбы, подобный подход оформился вскоре после того, как Россия, проведя 18 лет в мучительных переговорах, вступила в ВТО.

Волна новой суверенизации, постепенно охватывающая мир, в России накладывается на историческую одержимость суверенитетом и безопасностью, отсутствием традиций открытого общества. Российские модернизации никогда в истории не происходили в условиях полноценной открытости и взаимного обмена, они основывались на заимствовании элементов иностранного технологического и экономического уклада (но практически никогда — политического) по инициативе жестко централизованной власти и под ее внимательным присмотром. В прошлом это всегда требовало автократической, а позднее фактически тоталитарной системы правления, которая в современной России, к счастью, невозможна. Поэтому руководство добивается правильных, с его точки зрения, условий для развития, манипулируя степенью открытости и закрытости, целенаправленно ограничивая внешние воздействия на собственное общество. Этот курс был взят Владимиром Путиным сразу после решения вернуться на президентский пост в 2011 году и отчетливо прослеживается в серии его предвыборных статей января-февраля 2012-го.

Необходимость придать внутреннему развитию новый импульс (к моменту возвращения Путина в президенты исчерпанность

предыдущей модели была очевидна в России людям самых разных взглядов и ему самому), а также осложняющаяся международная обстановка запустили главный механизм российской консолидации — педалирование внешней угрозы. Украинский кризис, спровоцированный настоятельным желанием ЕС включить Киев в свою нормативную орбиту путем подписания Соглашения об ассоциации, создал всю необходимую “инфраструктуру”. А саммит НАТО в Варшаве довершил картину.

Накануне саммита, где сдерживание России фактически было объявлено главной задачей, произошло важное событие, оставшееся на периферии внимания. Будучи в Хельсинки, Владимир Путин согласился с предложением финляндского коллеги Саули Ниинистё запретить полеты над Балтикой боевых самолетов с выключенными транспондерами¹³. Сразу по возвращении домой Путин дал соответствующее поручение министру обороны (который его немедленно выполнил, отдав приказ Воздушно-космическим силам) и обсудил эту тему на заседании Совета безопасности. Тем самым есть надежда, что прекратится череда инцидентов между самолетами и кораблями России и НАТО, которые в последний год происходили с тревожной регулярностью.

Значит ли это, что отношения имеют шанс улучшиться? Скорее нет, поскольку договоренность о включении транспондеров — это не сближение, а фиксация конфронтации, окончательное признание того, что Россия и НАТО воспринимают друг друга как противников. Ну а если противостояние двух мощных военных машин имеет-таки место — к нему, как учат уроки холодной войны, надо относиться серьезно, проявлять “величайшую осторожность” (как было написано в Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, подписанном СССР и США в 1972 году). С начала 1990-х нужда в правилах управления рисками конфронтации постепенно отмирала, потому что считалось, что они больше не нужны. Однако сейчас они вновь приобретают острую актуальность.

Итоги саммита НАТО подтверждают, что возвращение к “старой доброй” миссии по сдерживанию России состоялось и в целом

оно не вызывает особых разногласий внутри альянса. Связано это не с тем, что в НАТО все поголовно считают Москву источником главной угрозы — скорее напротив, арифметическое большинство стран-членов к ней относятся индифферентно. Однако у западных государств (а большинство из них входят и в НАТО, и в ЕС) сейчас так много внутренних проблем, что заниматься успокоением нервных восточноевропейских союзников и выстраивать сложные нюансированные отношения с Россией просто некогда, не хватает ни сил, ни идей — куда проще вернуться к хорошо знакомой парадигме, по крайней мере на время, пока узлы внутренних противоречий каким-то образом не распутаются сами собой.

Таким образом, круг замыкается — у обеих сторон имеются весомые внутренние причины, чтобы счесть конфронтацию предпочтительной формой сосуществования. Российское руководство надеется таким образом сформулировать новую модель национального развития и окончательно легитимировать ставку на консервативное большинство. Образ внешней угрозы удачно его цементирует. На Западе, как ни странно, мотив сходный. В кампаниях, которые ведут “партии истеблишмента” (Кэмерон и лагерь *remain* в Великобритании, Хиллари Клинтон в США) против “мятежников”, все более настойчивые упоминания фигуры Путина служат инструментом запугивания избирателей, дабы они не отклонялись от мейнстрима. Получается, что подоплекой отношений, уходящих корнями глубоко в прошлое и как будто связанных исключительно с геополитическими противоречиями, на деле выступает тот самый кризис элит, который и является одной из движущих сил нынешнего мирового беспорядка.

Как бы то ни было, можно констатировать, что 25-летие “без конфронтации” завершилось. Имитация холодной войны не решит ни одну из проблем, ради которых она осуществляется — внешняя угроза способна лишь на время (если вообще способна) затушевать глубокие расколы в обществах практически по всему миру. Расколы, связанные с противоречивыми результатами глобализации.

Однако риски велики, поскольку даже надуманная конфронтация имеет свою логику

и тяготеет к эскалации. Стремясь произвести друг на друга впечатление, стороны ведут дело к милитаризации Европы и новой гонке вооружений — что, во-первых, опасно, а во-вторых, отвлекает от реальных вызовов XXI века.

И снова суверенная демократия

Мир переживает очередной слом устоявшейся конструкции. Бунтарские всплески против правящего класса происходят с шагом примерно в 25 лет.

Нынешние события напоминают бурление в середине и второй половине 1960-х годов, символом и кульминацией которого стал 68-й год. Тогда впервые проявился феномен “синхронного времени”: в совершенно разных странах, политических системах и по различным причинам общества одновременно пришли в движение.

На Западе студенческие и левацкие бунты привели в то время к расширению рамок истеблишмента. Часть буйных протестантов позднее превратились в системных политиков, обогатив повестку дня. В Китае варварской и централизованно направляемой формой общественного обновления стала “культурная революция”, которая сработала своеобразно — показала тупиковость пути и необходимость поворота в другую сторону. В СССР и Восточной Европе отказ от робких попыток либерализации заложил основу для следующей фазы потрясений — как раз через два десятилетия, во второй половине 1980-х.

Нынешний период — следующая тряска. Если в 1960-е годы общественные процессы толкали отстававшую государственную политику, то в 1980-х скорее наоборот: волну социально-политических процессов по всему миру катализировало решение государственного руководства — советского — повернуть штурвал. В Восточной Европе и Советском Союзе довершили то, что остановилось в шестидесятые. В Китае бунтарский всплеск был жестко подавлен; китайские власти остановили у себя процесс, развернувшийся в остальном социалистическом блоке, и в очередной раз миновали развилку, отмежевавшись и от левых реваншистов. На Западе же все это вос-

приняли как доказательство безусловной правоты модели, которая сформировалась после потрясений шестидесятых.

Иными словами, в конце 1980-х и западный мир, и тогдашний советский блок пожинали плоды собственных действий, совершенных двадцатью годами раньше. Запад убедился, насколько верным было тогдашнее решение “включить” фронду в истеблишмент и инициировать эволюционные изменения. Советскому Союзу пришлось расплатиться очередной революцией и распадом за то, что после “оттепели”, когда история предоставила, вероятно, последний шанс на плавную трансформацию системы, советское руководство отказалось от необходимых перемен и предпочло закручивать гайки. Усилия Горбачёва оказались безнадежно запоздавшими.

Сегодня новый виток спирали. Запад неприятно удивлен тем, что пока политики, одержав победу в холодной войне, почивали на лаврах, общества опять изменились, причем совсем не так, как виделось глядя из конца XX века. Кажется, прямой смысл вернуться к удачному опыту 68-го — кооптации протестных групп в правящий слой. Но в те времена политика, несмотря на общемировые тенденции, осуществлялась на национальном уровне, теперь же верхушка в значительной степени интернационализована, то есть управляющие элиты в разных странах имеют друг с другом больше общего, чем с собственными массами. (В США такое положение сложилось де-факто, а в Евросоюзе де-юре — в виде европейских институтов, оторванных от демократических процедур в странах-членах.) Чтобы преодолеть нарастающий кризис легитимности, элите нужно “спускаться” обратно к людям, на национальную почву. Политики это чувствуют, и американская кампания, где тон задают популисты изоляционистского толка, — убедительная иллюстрация.

Как и во время прежних всплесков, аналогичные политические процессы происходят и вне Запада. В Китае развернута антикоррупционная кампания, по масштабам сопоставимая с “культурной революцией”. Она призвана убедить граждан, что Компартия сама способна избавиться от “забывших о народе” чиновников и функционеров. Параллельно с

этим руководство КНР ищет — в том числе на уровне языка и лозунгов — новый пафос экономического развития, менее глобалистский, то бишь опять-таки приближенный к людям.

Россия в силу исторической специфики (и многовековой, и совсем недавнего прошлого) ощутила перемену тренда даже раньше остальных — о “национализации элиты” заговорили еще в 2012 году. Проблема отчуждения внутри общества у нас преодолевается традиционным способом — созданием “внешнего периметра обороны”, так что украинский кризис и его многообразные последствия в этом смысле, вольно или невольно, сыграли на руку властям. Истории наподобие “панамского досье” только сильнее убеждают в правоте такого подхода. Население в целом относится к обвинениям индифферентно, поскольку привыкло воспринимать разоблачения, идущие с Запада, как очередную атаку на Россию. А фигурантам и им подобным еще одно напоминание: пора заканчивать с финансовым космополитизмом, вас же предупреждали...

В 2011 году гарвардский экономист Дэни Родрик (по любопытному совпадению — зять видного турецкого военачальника Четина Догана, осужденного на длительный тюремный срок в 2012 году по сомнительному обвинению в подготовке путча против Эрдогана) описал так называемый парадокс глобализации. В современном мире, писал он, государства не могут сочетать три качества одновременно — участие в глобальной экономике, демократию и суверенитет. Чем-то обязательно приходится поступаться. И это будет все больше влиять на общественно-политическую ситуацию в отдельных странах. Примечательно, что несколькими годами раньше эту тему поднял не кто иной, как тогдашний архитектор всей российской внутренней политики Владислав Сурков. Его концепция “суверенной демократии”, воспринятая тогда исключительно как пропагандистский лозунг, была попыткой осмыслить именно эту проблему — как сохранить рычаги суверенного управления и осмысленное народовластие в условиях ускользающего контроля¹⁴. Впрочем, развития она тогда не получила. Может быть, пора перечитать.

Примечания

- 1 KRASTEV I. *America's dangerous "Putin panic"* // The New York Times. 2016. August 8th. URL: http://www.nytimes.com/2016/08/08/opinion/americas-dangerous-putin-panic.html?_r=0 (доступ 28.08.2016).
- 2 HALL M. *Boris Johnson urges Brits to vote Brexit to "take back control"* // Sunday Express. 2016. June 20th. URL: <http://www.express.co.uk/news/politics/681706/Boris-Johnson-vote-Brexit-take-back-control> (доступ 28.08.2016).
- 3 МАО Цзэдун. *Война и вопросы стратегии. Выступление на VI пленуме ЦК КПК 6-го созыва* // Маоистская библиотека. URL: http://library.maoism.ru/problems_of_warNstrategy.htm (доступ 28.08.2016).
- 4 В американской прессе появилась в этом году серия статей, сравнивающих Трампа с типичными для испаноязычного мира лидерами. Например, ENCARNACIÓN O. G. *American Caudillo: Trump and the Latin-Americanization of U.S. Politics* // Foreign Affairs. 2016. May 12th. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-05-12/american-caudillo> (доступ 28.08.2016).
- 5 Согласно опросу Pew Research, осенью 2014 года в среднем 65% жителей развитых стран против 28% на вопрос, видят ли они лучшее будущее для своих детей, чем у них самих, отвечали, что дети будут жить хуже. В развивающемся мире пропорция была 50 к 25 в пользу оптимистов. См. *Emerging and Developing Economies Much More Optimistic than Rich Countries about the Future* // Pew Research Center. 2014. October 9th. URL: <http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/> (доступ 28.08.2016).
- 6 FUKUYAMA F. *American political decay or renewal?* // Foreign Affairs. 2016. July/August. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/american-political-decay-or-renewal> (доступ 28.08.2016).
- 7 Булин Д. *"Брексит" как зеркало современной демократии: контуры расплываются? [Интервью с социологом Александром Филипповым и политологом Артемием Магуном]* // Русская служба BBC. 2016. 28 июня. URL: http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160627_brexit_democracy (доступ 28.08.2016).
- 8 Блистательным учебником, объясняющим, как технократический подход в сочетании с грамотной публичной политикой позволяет добиться невозможного, является книга воспоминаний Жана Монне "Реальность и политика".
- 9 KRASTEV I. *The Rise and Fall of Democracy? Meritocracy?* // Russia in Global Affairs. 2013. June 29th. URL: <http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Rise-and-Fall-of-Democracy-Meritocracy-16030> (доступ 28.09.2016).
- 10 В британской армии тогда погибло около 12% солдат, тогда как для офицеров эта цифра равна 17%. Из выпускников элитарного Итонского колледжа на полях сражений погибли более тысячи человек, что составило примерно 20% из числа тех, кто отправился на фронт. Премьер-министр Герберт Асквит потерял на войне сына, а будущий премьер Эндрю Бонар Лоу двух сыновей. Еще один будущий глава правительства Энтони Иден лишился двух братьев, третий брат получил серьезное ранение, а дядя оказался в плену.
- 11 ROZENBERG J. *The Iraq war inquiry has left the door open for Tony Blair to be prosecuted* // The Guardian. 2016. July 6th. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/06/iraq-war-inquiry-chilcot-tony-blair-prosecute> (доступ 28.08.2016).
- 12 Типичный пример — статья Азара Гата "Возвращение великих авторитарных держав" (URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_9213 (доступ 28.08.2016)). На ту же тему, но с гораздо большим алармизмом писал Роберт Кейган в книге 2008 г. "Возвращение истории и конец мечты".
- 13 *Путин в Финляндии: диалог Москвы с НАТО перечеркнет страхи Балтии* // Sputnik. 2016. 2 июля. URL: <http://ru.sputniknewsiv.com/Russia/20160702/2187453.html> (доступ 28.08.2016).
- 14 Сурков В. *Национализация будущего* // Эксперт. 2006. №43. 20 ноября. URL: http://expert.ru/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/ (доступ 28.08.2016).